

М.М. СОКОЛОВ

ТАМ И ЗДЕСЬ: МОГУТ ЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ОБЪЯСНИТЬ СОСТОЯНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ В РОССИИ?

В статье аргументы Льва Гудкова рассматриваются в сравнительной перспективе. На материале изменения содержания англо-американских учебников по теоретической социологии на протяжении последних 50 лет демонстрируется, что систематическое обновление корпуса имен и текстов завершилось около 1985 года. Предполагаемое отсутствие социологической теории в России сегодня в свете этого перестает казаться отражением национальной специфики, а становится частью всемирной интеллектуальной динамики.

Ключевые слова: история теоретической социологии, социология науки, социология интеллектуалов.

Социальные проблемы становятся социальными проблемами, лишь если они определены в качестве таковых. После того как множество личных несчастий предстают сторонами одного и того же явления, у них появляются виновники, о которых никто и не подозревал раньше, для их устранения предлагаются рецепты, на них делаются политические карьеры. Публичная жизнь современных обществ — история взлетов и падений социальных проблем. То, что верно для общества в целом, верно и для любого сообщества внутри него, и сообщество тех, кто утверждает, что изучает общество, — не исключение. Частные неудовлетворенности уже несколько десятилетий назад были почти единодушно¹ переопределены социологами как общая

Соколов Михаил Михайлович — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге. **Адрес:** 190008, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16. **Телефон:** +7(812) 714–2544.

Электронная почта: sokolovmikhail@yandex.ru

¹ Представление о нынешнем состоянии социологии как о беспрецедентно кризисном является настолько распространенным верованием среди социологов, что публичное утверждение обратного производит впечатление экстравагантности, граничащей с ересью. Рэндалл Коллинз временами эпатарует коллег, рассказывая, что они, вопреки своему убеждению, живут вовсе не в Кали-югу (например, в: *Collins R. Is 1980s sociology in the doldrums? // The American Journal of Sociology. 1986. 91(6). P. 1336–1355* — статья, документирующей массовое ощущение

беда, наступивший кризис дисциплины. Как всякая социальная проблема, кризис социологии допускает множественные интерпретации. Выбор российских социологов (и социологов из любой другой страны на периферии «академической миросистемы») даже шире, чем выбор их коллег из англо-американских (и, с некоторыми оговорками, германских и французских) университетов. Они могут рассматривать проблемы российской социологии с ударением как на первом, так и на втором слове — или как часть проблем России, или как часть проблем социологии в целом. Выбор той или иной интерпретации есть, в некотором роде, выбор политического лагеря внутри дисциплины. Те, кто видит в проблемах российской социологии часть проблем России, как правило, склонны искать решение в обращении к западному опыту — и в том, что касается бед дисциплины, и в том, что касается несчастий российского общества. Те, кто определяет слабости социологии как глобальные, чаще всего склонны возлагать ответственность на страны, из которых она экспортируется, — и как раз наоборот, видеть спасение в обращении к национальным корням. В своей статье Лев Гудков изящно суммирует аргументы первой стороны. Я попробую оценить их основательность, опираясь на доступные сравнительные данные.

Гудков, вслед за одним неупоминаемым им автором, задает вопрос: почему в России нет теоретической социологии? Он перечисляет (в порядке появления) следующие причины:

А) множественность институциональных баз и многообразие аудиторий российских социологов, влекущих за собой параллельное существование нескольких академических сообществ; как следует из дальнейшего текста, одним из порочных следствий этого является разрыв теории с исследовательской практикой;

В) спрос на «низкотехнологичные» массовые опросы с незатейливыми интерпретациями со стороны как государственных структур, так и широкой аудитории; в дальнейшем Гудков указывает на особенно негативные эффекты обслуживания социологами государственных запросов;

С) потерю должной мотивации познавательной деятельности со стороны отечественных «эпигонов постмодернизма»², которые, неправильно понимая ценностную нейтральность, изолируются от развития теоретических подходов, необходимых для содержательной интерпретации происходящих в обществе процессов;

растерянности и неудовлетворенности в эпоху, которая сегодня кажется нам золотой осенью социологического воображения).

² Я был озадачен причислением любой микросоциологии (не говоря уже о «качественных методах») к «постмодернизму», пока не узнал, что автор вообще делит все теоретические подходы на «структурно-функционалистские и постмодернистские». Каждый, разумеется, волен использовать слова, как ему или ей заблагорассудится, заранее предупредив об этом остальных.

Д) «неразвитость или слабость российского общества, не испытывающего нужды в соответствующем социальном знании», «дегенерация сферы публичности»;

Е) бездумное импортирование «теми, кто учился или стажировался в зарубежных университетах» популярных там сегодня теоретических конструкций вместо более адекватных российским реалиям схем 1930–1960-х годов. Последние в целом для Гудкова стоят выше современной западной социологии, которая «превращается в академическую резервацию, зону интеллектуального застоя и консерватизма»;

Ф) имплантация в академические институты организационных принципов государственной бюрократии, особенно в свете возрастающей экономической зависимости от нее; заимствование бюрократической системы релевантностей.

Если бы не упоминание о текущей деградации западной социологии, этот список был бы абсолютно точным изложением либеральной интерпретации кризиса российской социологии. Гудков не упоминает о том, каково соотношение между этими факторами. Выглядит ли точная формула теоретического бессилия как $A \& B \& C \& D \& E \& F$ (только все факторы вместе) или $A \vee B \vee C \vee D \vee E \vee F$ (любой фактор в отдельности), или, скажем, $(A \& B \& C \& [неD] \& [неE] \& [неF])$ или $([неA] \& B \& C \& D \& [неE] \& [неF])$... (любые три), или $xA + yB + zC + \dots$ (каждый фактор входит в сумму независимо со своим весом) — автор не говорит. Для любой из приходящих на ум простых формул, однако, легко придумать аномалии из истории социологии — в связи со взрывами теоретического воображения при наличии факторов, действующих, по Гудкову, как ингибиторы, или с его (воображения) отсутствием там, где эти факторы, казалось бы, представлены лишь минимально.

Действительно, оторванность образовательных учреждений от исследовательских (А) встречается повсеместно в системах с развитым государственным сектором в высшем образовании. Если сравнивать с Францией или Германией, Россия окажется еще далеко не крайним примером. Но, как показывают французский и германский случаи, в башнях из слоновой кости не обязательно царит теоретическое бессилие. Аналогично индустрии массовых опросов, принципиальными заказчиками в которых являются государственные агентства (В), существуют в западном мире почти повсеместно с 1940–1950-х годов (см. карикатуру, нарисованную Ч. Миллсом в «Социологическом воображении»), но это не предотвратило всплеска теоретического воображения в 1960–1970-х именно там, где эта индустрия была наиболее развита. Что до бюрократического консалтинга и трансляции тематических приоритетов государства в область науки (F), то мы вряд ли найдем время более интимного их сплетения, чем американская социология 1930–1960-х, — то есть той самой эпохи, которая

в версии Гудкова играет роль дисциплинарного «золотого века». Институционализация социологии в американских университетах связана с реформами прогрессивской эры, крупнейшие эмпирические проекты до поздних 1950-х обычно развертываются на госконтракты и имеют очевидное приложение в области того, что государством воспринимается как «проблема» (от криминологических изысканий Чикагской школы до изучения профсоюзов в социологии индустриальных отношений), а все важные фигуры, кроме разве что аристократов типа Бэррингтона Мура и Джорджа Хоманса, исправно консультируют государственные органы (даже Т. Парсонс замечен в этом)³. Наконец (D), страны, которые считаются эталоном развития публичной жизни, не всегда оказываются раем для теоретической социологии (назовите хоть одного выдающегося скандинавского теоретика).

В объяснительной модели Гудкова, или, вернее, за ее пределами, остается еще один интригующий элемент. Если, как он говорит, западная социология переживает стагнацию, то чем это может быть вызвано, учитывая, что (как он сам несколько раз констатирует), выделенные им факторы специфичны для российского общества? Значит ли это, что есть два разных каузальных механизма, один из которых работает «там», а второй «здесь»? Или механизм один и тот же, а упадок социологического теоретизирования возникает скорее вопреки различиям в институциональном устройстве? Данные, приведенные ниже, взяты из небольшого исследования сдвигов в организации теоретического знания в социологии. Эти сдвиги прослеживаются на самом тривиальном материале — обновлении оглавлений в учебниках по современной социологической теории. Форма, избираемая автором, множеством разных способов отражает его представления о том, что является содержанием, — в том числе и те из них, которые он сам вряд ли смог бы для нас эксплицировать. Изменение жанра текста, принципов его структурирования и набора персоналий в нем выдают изменения в коллективных представлениях социологов о теоретическом знании вообще и о том, что составляет его в данный момент времени. Я проанализировал примерно 60 написанных на английском учебников. 50 из них относятся к периоду после 1960-х, остальные появились ранее. Несмотря на скромный объем и неравномерное распределение охваченного материала, его хватает, чтобы выдвинуть некоторые любопытные предположения.

Посторонний для социологии читатель, сравнив учебники 1920-х с учебниками 1960-х, задал бы вопрос, имеет ли он дело с одной и той же специальностью. Сравнив учебники 1960-х с учебниками 1980-х,

³ Лучшая институциональная история американской социологии — *Turner S.P., Turner J.H. The impossible science: An institutional analysis of American sociology. Newbury Park: Sage, 1990.*

он был бы впечатлен достигнутым ей прогрессом. Сопоставив учебники 1980-х с учебниками 2000-х, он спросил бы, что социологи делали последние 20 лет. До 1940-х годов социология предстает дисциплиной с одинаково непредсказуемым настоящим и прошлым. Ее границы и список отцов-основателей находятся в постоянном движении. Так, во «Введении в науку об обществе» Парка и Берджесса (1921 г.), — видимо, первом образчике учебной хрестоматии теоретических текстов — среди 268 отрывков мы находим 13, принадлежащих перу самого Парка, 10 — Зиммеля, по 4 — Альбиона Смолла, Самнера и Дарвина, по 3 — Уильяма Томаса, Дьюи и Бехтерева, и всех остальных — не более чем дважды. Дюркгейм и Кули встречаются два раза, Вебер, Маркс и Мид (который ретроспективно будет записан в отцы-основатели «Чикагской школы символического интеракционизма») не встречаются вовсе. Этот список не имеет почти ничего общего с другим, который фигурирует в «Современных социологических теориях» Питирима Сорокина (1928). Сорокин делит современных ему социологов на 9 школ, многие из которых мы сегодня сочли бы паранаучными (как, например, расовую), и большинство — не социологическими (как все ответвления «психологической», «географической» или «демографической» школ). Из четырнадцати глав только пять (три — о «социологической» школе в разных ипостасях, включающей Дюркгейма, Маркса и Кули, четвертая и пятая — о «психо-социологической школе», включающей Вебера и Самнера, и о «механистической» школе Парето) содержат сюжетные линии, развитие которых мы встречаем в учебниках социологии сегодня.

Ядро социологического канона окончательно оформляется только к 1950-м годам. «Природа и типы социологической теории» Дона Мартиндейла (1960), несмотря на несколько непривычную для нас сегодня номенклатуру направлений (глава пятая, объединяющая Вебера и Мида, которую теперь окрестили бы «интерпретативной традицией», носит название «Социальный бихевиоризм»), по сути дела, является нашим современным учебником классической теоретической социологии. Весьма символично, что Мартиндейл заканчивает Парсонсом⁴. В последние двадцать лет мы

⁴ Роль самого Парсонса в создании этого канона была двойственной. С одной стороны, превращение Вебера и Дюркгейма в пару правящих богов-близнецов социологического пантеона, базовую бинарную оппозицию при исчислении интеллектуального родства, часто ассоциируется именно с ним. С другой стороны, какую бы экспликацию оснований социологической теории в его исполнении мы ни взяли (например, хрестоматию «Теории общества. Основания современной социологической теории», изданную им совместно с Шилзом в 1965 г.), мы найдем там образующие элементы, которые останутся за дисциплинарными границами для социологических авторов в дальнейшем.

увидим попытки — в основном в качестве жеста в сторону *minority groups* — добавить в пантеон отцов (или матерей)-основателей в качестве незаслуженно забытой ту или иную фигуру, от В.Е.Б. Дюбуа до А.М. Коллонтай. Но эти жесты до настоящего времени останутся выражением персональной политкорректности их авторов. Консолидация корпуса социологической классики завершается во времена «Ортодоксального консенсуса».

25 лет с приблизительно 1965 года оказываются временем, когда учебники современной социологической теории быстрее всего пополняются за счет активно пишущих и, по академическим меркам, еще очень молодых авторов. Корпус классики уже не меняется, но теперь он воспринимается как что-то отделенное от настоящего водоразделом; оглавление все чаще эксплицитно противопоставляет «классическую» теорию «современной». Второе издание хрестоматии «Социологическая теория» Козера и Розенберга (1966) содержит отрывки из Гоффмана (которому на тот момент 42 года), Эйзенштадта (41) и Дарендорфа (37). «Теоретическая социология. Перспективы и успехи» под редакцией Маккинни и Тириакияна (1970) включает главы Гарфинкеля и Сакса (первому — 53, второму — 35) и Тилли (39). В «Современной социологической теории» под редакцией Фреда Каца (1971) появляются Питер Блау (53) и Харрисон Уайт (41). Никогда больше сама структура оглавлений не меняется с такой быстротой: возникают не только новые разделы, но и новые принципы классификации. В сборнике «Теоретические перспективы в социологии» под редакцией Макналла (1979) впервые зафиксирован раздел, названный «К женской перспективе в социологии» (соседний с ним посвящен буддийской перспективе и осторожно рекомендует расширяющие сознание средства как метод социологического просветления — естественный отбор прошли лишь немногие из предложенных тогда инноваций, и, увы, не самые веселые).

Наконец, начало 1980-х отмечено появлением нескольких сборников и хрестоматий, которые только годом издания на титульном листе отличаются от современных. «Прогресс в социальной теории и методологии» под редакцией Кнорр-Цетины и Сикурела (1981) содержит главы, написанные ими самими (37 и 53), а также Луманом (54), Хабермасом (52), Бурдые (51), Гидденсом (43), Рэндаллом Коллинзом (40) и Бруно Латуром (34). Вряд ли какой угодно современный редактор мог бы подобрать лучший состав авторов, чтобы написать о прогрессе социологической теории. Более того, вряд ли современный редактор мог бы вообразить *другой* состав авторов для этой цели. К концу 1980-х запоздавшие континентальные социальные теоретики надежно закрепляются в англо-американских учебниках — и время останавливается. Сравнение с учебниками, вышедшими после 2005 г., дает лишь несколько новых имен, и все они принадлежат людям примерно того же поколения — Арли Хокшильд (1940 г.р.), Нэнси Чодоров (1944), Джеффри Александер (1947) и Теда Скочпол

(1947). «Будущее социальной теории» Николаса Гейна, выпущенное в 2004-м и обещающее ознакомить читателя с социологией XXI века, содержит главы, посвященные Зигмунту Бауману (1925 г.р.), Джудит Батлер (1956), Бруно Латуру (1937), Скотту Лэшу (1948), Джону Урри (1946), Саскии Сассен (1949), Ульриху Беку (1944), Николасу Розе (1947) и Франсуазе Верже (1952). Только Батлер и Верже (надо отметить, что обе не идентифицируют себя с социологией) исполнилось менее 55 на момент выхода книги. Вариации в оглавлениях учебников, выпущенных после 2000 г., дают нам следующую картину. Существует корпус бесспорной «новой классики», в значительной степени созданный людьми, родившимися в 1926–1930 годах и недавно отметившими (бы) 80-летие (Бурдьё, Луманн, Хабермас, Фуко, Коулмэн, Бодрийяр, Бергер и Лукман — только Гарфинкель и Гоффман отклоняются в одну, а Гидденс — в другую сторону). Есть корпус дополнительного чтения, отчасти созданный представителями той же когорты (скажем, Уайт или Бауман), отчасти — поколением 1940-х, которое училось у предыдущего, еще когда-то состояло из восторженных молодых доцентов (дело происходило в поздних 1960-х или ранних 1970-х). Если ядро «новой классики» сравнительно постоянно, то периферия высоко вариабельна, и никто из находящихся на ней не претендует пока на превращение в неотъемлемую часть канона. Ощущение обновления, если оно вообще возникает, достигается за счет обнаружения дополнительных периферийных фигур старших поколений, не за счет внезапного пробуждения поколения тех, кто учился уже у них.

А теперь вернемся к картине, которую нарисовал Л. Гудков. Среди фигур, достойных подражания советских социологов, он называет Кона (1928 г.р.), Грушина (1929), Леваду (1930) и Ядова (1929). Вероятно, если бы он пожелал дополнить список, то вспомнил бы Заславскую (1927), Здравомыслова (1928), Давыдова (1929) или Фирсова (1929) — людей, которые принадлежали к той же последней когорте «долгого гражданского поколения», воспетого Робертом Патнэмом. Происходившее по обе стороны железного занавеса и продолжающее происходить сейчас по обе стороны границ Евросоюза и Североатлантического блока обнаруживает гораздо больше синхронности, чем это предполагают институциональные рассуждения Гудкова. Сложно поспорить с тем, что теоретическая дискуссия в СССР была подавлена силовым образом, но то, что она не возникла после 1991-го, может объясняться не тоталитарным наследием, а как раз наоборот, тем, что постсоветские социологи оказались в тех же условиях, что и их западные коллеги. Просто в случае последних отсутствие новых имен и не-возникновение новых подходов маскируются избытком старых. Я хотел бы закончить, предложив какую-то эффектную интерпретацию этих данных, но ее у меня нет. Оккам призывает нас искать механизм, действующий как на постсоветском пространстве, так и повсюду за его пределами. Ни один институциональный или локально-исторический фактор не действует и там, и здесь. Есть что-то еще в этой генерационной динамике.